

И. ГРЕКОВА

ВДОВИЙ ПАРОХОД



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г80

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *A. Фереза, E. Ферез*

Дизайн обложки *B. Воронина*

Грекова, И.

Г80 Вдовий пароход / И. Грекова. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 224 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-181258-4

«Вдовий пароход» — это повесть о любви и дружбе, о юности и старости, о женской доле и конфликте отцов и детей, о болезни и смерти, о жестокости и милосердии: человеческие драмы — маленькие и большие — происходят в замкнутом пространстве послевоенной московской коммуналки, где волею судьбы оказались пять рано овдовевших женщин, очень разных как по своему прошлому, так и по социальному и культурному уровню. Свой дом — свой мир — они называют «вдовьим пароходом».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-181258-4

© И. Грекова, наследники, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

Мой муж был убит на фронте в самом начале войны. Мы оставались в Москве. «Мы» — это я, моя мать-старушка почти без ног и моя дочь Наташа четырнадцати лет. Какое-то оцепенение помешало мне действовать. Эвакуироваться во время мы не успели, а потом, в суматохе, было уже поздно. Впрочем, мне предложили одно место в машине, отъезжавшей на восток со двора незнакомого учреждения; все спешили, по воздуху летали документы из какого-то развеянного архива. Одно место? Разумеется, я отказалась. Потом заколебалась: «Отправить Наташу?» — и сразу же: «Нет, не отдам». Машина уехала. Обо всем этом я рассказала дома, сомневаясь в правильности своего решения. «Все верно, — сказала мама, — погибать, так вместе». Она вообще бодрилась, была суха, подборанна, много вязала, шевеля спицами где-то у самого уха и летящими губами считая петли. Наташа, та вообще ничего не понимала, пела по утрам, завязывая банты перед зеркалом; меня ужасало, как легко она пе-

режила смерть отца. Теперь я понимаю, что для нее вообще жизнь была нереальной, а тогда мне подчас хотелось ее ударить.

Одним словом, мы остались на месте, так было легче — ничего не предпринимать. Жили как бы по-старому в нашем старом доме, в старой квартире с высокими закругленными окнами, выходившими во двор, где мирно висело разноцветное белье и какая-то нежная провинциальность оплетала плющом балконы. Работы у меня не было. Я продавала на барахолке кое-какие вещи и тут же покупала или выменивала кое-какую еду. Осень шествовала вперед, уже по утрам руки покусывало морозом, плющ побагровел и усох. Жизнь формировалась, в городе восстанавливался порядок, пошатнувшийся было в дни поспешной эвакуации. Выдавали карточки, заботились о затемнении, мальчишки искали шпионов, сигналивших врагу с чердаков вспышками света. Я сама однажды видела такую вспышку, мигавшую ярко и загадочно. В магазинах иногда появлялись ненормированные продукты, странные, например крабы и шампанское. За ними выстраивались очереди. Люди посмеивались: за чем стоим? Одну такую очередь я выстояла, после этого мы всю ночь ели крабов и пили шампанское, а Наташа тренякала на гитаре. В этом ночном празднестве было что-то глубоко нечестивое. Время от времени налетали немецкие самолеты, их я не боялась, я во-

обще ничего не боялась, была как-то уверена, что худшее в нашей семье уже произошло и ничего больше произойти не может. К тому же налеты случались сравнительно редко и их последствия на огромном лице города были почти незаметны. Развалины убирались, и на их месте быстро разбивался сквер. В городе властвовали аэростаты заграждения — гигантские колбасы, днем ведомые под уздцы девушками в военной форме, а вечером поднимавшиеся сторожами в чуткое небо. В их пузатом спокойствии было что-то надежное: спите, люди. Голос из репродуктора, привычно скандировавший знакомые слова: «Граждане, воздушная тревога», уже не пугал, мы под него не спеша одевались. Бомбоубежище было не в нашем доме, а в соседнем, через двор, мне все казалось, что мы занимаем в нем чье-то чужое место. А мама беспомощна, и таскать ее туда было мученьем. Да что долго объяснять? Так или иначе, в убежище мы ходить перестали.

Однажды поздно вечером после отбоя вновь объявили тревогу. Наташа подняла голову с подушки и сказала с досадой: «Мама, опять тревога? Ух как они мне надоели!» — а я ответила: «Ничего-ничего, спи, доченька». Это были последние слова, которые мы друг другу сказали, потому что как раз в эту ночь наш дом был разрушен бомбой. Мама и Наташа погибли, а я — нет. Как говорится, чудом уцелела. Чудом ли?

Скорее это было одно из тех обратных чудес, чудес зла, автор которых — сам дьявол. У меня был перелом позвоночника, ноги и обеих рук. Как ни странно, я была в сознании. Помню тяжесть навалившегося кирпича, какую-то дверь, косо и страшно вставшую надо мной, мысль: «Мама? Наташа?» — мысль: «Конец». Когда меня вытаскивали, я кричала: «Осторожнее!» — потому что берегла руки.

Потом был промежуток полного беспамятства. Первым ощущением, которое я осознала, была непомерная тяжесть, именно тяжесть, а не боль. Мне представлялось, что это все еще был кирпич, который почему-то не разбирали. Только много позже я поняла, что это был не кирпич, а гипс. Он окружал меня со всех сторон, я была в нем замурована, заключена. Кроме тяжести, я ничего не чувствовала. Я была слепа. Меня окружала темнота, не безлично серая, а огненно-черная, что могло означать одно: я слепа. В черноте иногда вспыхивали искры, звездообразные взрывы света. Они были подвижны и катились всегда в одну сторону. В какую-то минуту я раскрыла губы и сказала: «Мама? Наташа?» — но ничего не услышала. Я была глуха.

Так, в глухой темноте шло для меня время без времени, отмечаемое только сверканьем катящихся искр; они появлялись через регулярные промежутки, измерить которые я не могла, зна-

ла только, что они регулярны и образуют четкий рисунчатый ритм. Искры сами по себе были очень красивы, они чем-то напоминали живых существ, может быть, морских звезд, но неумолимость, с какой они катились всегда в одну сторону, была не от живого мира.

Зрение вернулось ко мне раньше, чем слух. Через некоторое неопределенное, но очень долгое время я увидела свет. Он брезжил, колеблясь и как бы сомневаясь, в водянисто-серой комнате, похожей на аквариум, потому что в воздухе-воде над моим лицом висела большая белая рыба. Я открыла рот, чтобы сказать все то же: «Мама? Наташа?» — и опять ничего не услышала. Белая рыба встрепенулась, махнула хвостом и на большой скорости промчалась мимо. Вместо нее появилась другая, но оказалось, что это не рыба, а белая косынка медицинской сестры. Под косынкой на бледно-желтоватом, слегка отечном лице светились внимательным удивлением большие глаза. «Значит, я в больнице и не слепа», — подумала я и посмотрела вдоль себя в сторону ног. На койке лежало нечто белое, очень большое, что по занимаемому месту должно было быть мной, но не было, а ощущалось как посторонняя тупая тяжесть. Мне вливали в рот что-то теплое, не имевшее вкуса.

Сознание возвращалось ко мне постепенно, но не равномерно, а толчками. Несколько позже света стал возникать звук, тоже искрами, взры-

вами, вначале болезненными. Однажды я открыла глаза и увидела, что возле меня сидит моя подруга и плачет. Плач был громкий и напоминал икание. «Мама? Наташа?» — спросила я и услышала собственный голос, резкий, как крик. Моя подруга ничего не ответила, но по ее лицу я поняла, что они погибли. Я была вся в гипсе, с ног до головы, и не могла ни биться, ни двигать руками, ни себя уничтожить. Опять мне что-то вливали в рот. Вернулись беспамятство, чернота. Кажется, я заклинала ее стать вечной. Сознание приходило, мигало и пропадало опять. Душевная боль не была постоянной, она возникала взрывами и тогда была нестерпима — казалось, что она разорвет изнутри гипс.

После того я еще год провела в больнице, и врачи боролись за мою ненужную мне жизнь. За этот год воля к смерти, очень сильная вначале, успела во мне погаснуть. Ее заменила ненависть к гипсу, желание уничтожить уже не себя, а гипс. Потом стал появляться, вспыхивая и опять пропадая, интерес к заоконному миру. Он был доступен вначале лишь боковому зрению, но чувствовалось, что он велик и прекрасен. Потом, когда мне освободили шейные позвонки и я уже могла поворачивать голову, заоконный мир открылся во всю ширину и оказался в самом деле велик и прекрасен. Там шевелились ветки, падал дождь, гуляли голуби. Все это было свежо и ярко, много ярче, чем

в обычной жизни. Я, например, никогда не видела таких синих голубей. В дальнейшем эта яркость слегка померкла, но в какой-то мере сохранилась и до сих пор. Иногда меня поражает, скажем, яркость дождя.

Итак, я уже могла поворачивать голову. Теперь я уже хотела поправиться, если это возможно. Оказалось, что это возможно. В один прекрасный, насквозь солнечный день сплошной гипс заменили на облегченный, ликующе-легкий, почти невесомый. В этот день я браталась с мухами, невесомо летавшими по солнечной палате. Прошло еще время, и вот я уже могла сидеть на койке, владеть руками, есть. Еда, скучная в те времена, занимала в жизни людей большое место, что трудно понять тем, кто не голодал. Принятие пищи превращалось почти в обряд. Я удивлялась, что с трепетом жду раздачи обеда, но трепет был. Шаркали шаги, гремела посуда, появлялась санитарка в разношенных тапочках, с янтарными голыми пятками, начиналась раздача. Я ела. Потом я спала — долго, запоем, как спят грудные.

Когда меня выписывали, оказалось, что подвижность рук частично утеряна, а это означало еще один конец — по профессии я пианистка. Впрочем, этот конец мало значил рядом с другими. Пожалуй, я не была по-настоящему талантлива. От таланта мне досталась только свирепая совесть, заставлявшая меня без конца

упражняться, днем — на рояле, ночью — впустую, барабаня пальцами по колену, и яростное недовольство собой, а этого мало. Мне дали третью группу инвалидности и выпустили в жизнь. Помню, как я ее встретила, выйдя из ворот больницы, как стояла, бестолково глотая воздух, убитая солнечным светом, а моя подруга держала меня под локоть.

Первые недели я прожила у нее. Но это не могло продолжаться вечно. Я стала хлопотать о жилплощади. «Зачем тебе это нужно? — говорила подруга. — Оставайся, живи у меня». Нет, этого я не могла. Стыдно сказать, она меня раздражала. Она впала в какой-то экстаз самопожертвования, была говорлива, вздорна, много плакала и словно требовала того же и от меня. Но я не могла плакать — то, что во мне было, не сводилось к слезам... А ее деспотические заботы! От них можно было с ума сойти. Как, например, она кричала на меня в подлинном гневе за то, что я вышла на улицу без шарфа. Как будто он что-нибудь значил, шарф. Как будто сама я что-нибудь значила. Как будто что-нибудь значили мы все, бесполезные перед лицом того огромного, что происходило в мире... Радио она не слушала, газет не читала, вся погрузилась в испуганную суетню. А когда мы обедали, она внимательно делила еду на неравные доли, всегда стараясь подсунуть мне ту, что побольше, а я возражала, и начиналось смехотворное пере-

бррасывание тарелками... Нет, мне надо было иметь свой угол, свои четыре стены, чтобы жить.

В райсовете довольно скоро мне выделили комнату, освободившуюся то ли за выездом, то ли за смертью жильцов. Комната оказалась небольшая, еще уменьшенная своей стройной продолговатостью, с высоким, смутно задымленным потолком. Окно выходило на задний двор, где стояли рядами голубые мусорные баки, а на их фоне шествовал, осеняя себя хвостом как флагом, ярко-оранжевый кот. Все это увиделось мне прекрасным, особенно закатный солнечный свет на огненной шерсти кота. От прежних жильцов в комнате оставалась кровать, брошенная, очевидно, за непригодностью: сетка проходила и кое-где была грубо стянута веревками. Я присела на кровать, сетка подалась, заскрипела. Железная полоса под коленями была восхитительно холодна. Да, мне все это понравилось, хорошо бы и на будущее сохранить эту пустоту, простоту и яркость. Я не хотела обзаводиться вещами. Говорят, корабли, обрастаю ракушками, теряют ход. Я не хотела терять ход, хотя идти мне было некуда. И все же какой-то легкий ход мерещился мне как благо. Кстати, нелюбовь к вещам осталась у меня навсегда.

Моя подруга дала мне самое необходимое: стол, стул, матрас, одеяло, кое-что из посуды, из носильных вещей. Она хотела бы дать больше, всю меня осыпать подарками, но я не бра-

ла. Помню нелепый спор из-за приземистого предмета, который она называла козеткой, — мне так же мало хотелось впустить его в свою комнату, как паршивого пса. Подруга настаивала, я решительно сказала: «Лучше умру», — и опять она плакала, а я нет. Теперь я жалею, что не взяла.

Нам предстояла разлука: вскоре моя подруга должна была уехать к замужней дочери куда-то в Сибирь. Она страшилась отъезда и, говоря о нем, снова и много плакала, а я была черства. Мне бы понять ее тревогу, ее усталость, ее предчувствия... Слезы текли по ее маленьким, похудевшим щекам. Записывая для меня свой адрес, она надела очки, и по ее постаревшему лицу я поняла, что обе мы уже немолоды. На прощанье она сунула мне пачечку денег и сказала: «Отдашь, когда сможешь». Этих денег я ей так и не вернула, потому что вскоре она умерла. Я не знаю, где ее могила, растут ли на ней цветы и какие. Я пытаюсь выслать свой долг ее дочери, но перевод вернулся с пометкой: «Адресат выбыл». Этот невозвращенный долг до сих пор меня мучает рядом с другими долгами и винами, которым нет числа.

Моя подруга уехала, и я осталась совсем одна. Ни родных (все умерли), ни товарищей по работе (все разъехались), ни даже соседей по дому (дом разрушен, и на его месте разбит сквер). Прежде подпирали заботы: свои заботы о ком-то

и чьи-то заботы о тебе. Слово «беззаботный» обычно сопровождает представление о счастье. А на самом деле до чего неприятна, неприкаянна жизнь без забот! Прошло много времени, пока я к ней приспособилась. Первое время я даже не могла готовить еду: мне казалось диким кормить самое себя.

Деньги, которые мне оставила моя подруга, подходили к концу. Пора было поступать на работу. О прежней профессии, конечно, и думать было нечего — с этим я примирилась безропотно, кто знает, может быть, с тайной радостью, что больше не надо изводиться отсутствием таланта... Мне было все равно, где работать, но что я могла, что умела? Для физической работы я не годилась. Для умственной? Тоже, скорей всего, нет...

— Какое у вас образование? — спрашивали меня.

— Консерватория... — отвечала я, стыдясь. — По классу рояля.

— Играть можете?

— Нет.

— Что же с вами делать, товарищ? Подумаем. Заходите еще.

Они думали, а я заходила еще и еще, но работы не было. Я была как просительница, клянчущая на бедность. После отказа (а это всегда был отказ, хотя и отложенный) я дрожащими руками собирала свои вещи: мешочек с хлебом

или картошкой, суковатую палку-ключу, сумочку со справками, заменявшими мне документы. Нередко справки падали на пол, я их собирала, страдая от собственного калечества и жалости окружающих, иногда выражавшейся в том, что они начинали сидя суетиться и двигать руками. Потом я заматывалась шалью и уходила не обрачиваясь, боясь, как бы мне не предложили денег за нищий взгляд.

Так прошло несколько месяцев. Я начала уже терять надежду, как вдруг мне предложили работу! Да, настоящую работу, музыкальным воспитателем в Дом ребенка.

— А что такое Дом ребенка?

Мне объяснили: это вроде детского дома, только для самых маленьких, от рождения до трех лет. Говоря популярно, вроде яслей.

«Популярно говорил» мой работодатель, инспектор по художественному воспитанию, огромный детина, рыжий до ужаса, с рыжими волосами в ноздрях. У него было дел выше головы, на столе сотни бумажек и разные дыроколы. Говоря со мной, он ритмично постукивал карандашом.

— Ну как? Все ясно?

Я колебалась. Предложение испугало меня, всколыхнуло всю бездну моей неуверенности в себе. Ничего я не знаю, не умею. И все же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно

для чего, но надо! Никогда еще я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зеленою прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия... А живые существа: кошки, голуби, дети со своей занятостью и тайной! Не надо это понимать так, будто я забыла свое горе. Нет, горе было во мне, горе было свято, но жизнь привлекала меня безмерно...

Карандаш стукнул весьма решительно.

— Жду ответа. Устраивает это вас, товарищ Флерова?

Стук означал: не задерживай. Даже он, этот рыжий, был мне интересен.

— Устраивает, но... боюсь, не справлюсь.

— Пустяки! «Чижик-пыхик, где ты был?» — пропел он фистулой. — Ну как? Сыграете «Чижика»?

Я поглядела на руки, пошевелила пальцами. Пальцы двигались.

— Пожалуй, сыграю.

— Тогда заметано. Даём направление в Дом ребенка. А вы не тушуйтесь. Повеселее, повеселее, мамаша!

Кажется, впервые в жизни меня назвали мамашей, а было мне тогда неполных сорок лет. Потом называли по-всякому — и мамашей, и бабушкой, и бабусей. Даже бабой-ягой. Ходи-